

М.А. Робинсон. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М.: Индрик, 2004. 432 с.

В монографии М.А. Робинсона освещается положение славяноведения и его академической элиты в первые десятилетия советской власти. Материалом для книги послужили письма около шестидесяти ученых, преимущественно славистов (К.Я. Грота, Н.С. Державина, Н.Н. Дурново, Д.К. Зеленина, Г.А. Ильинского, В.М. Истрина, Н.М. Каринского, Е.Ф. Карского, Н.П. Кондакова, П.А. Лаврова, Б.М. Ляпунова, Н.К. Никольского, В.Н. Перетца, А.М. Селищева, М.Н. Сперанского, А.И. Соболевского, А.И. Томсона, М.Р. Фасмера, В.А. Францева, К.В. Харламповича, А.А. Шахматова, Р.О. Якобсона, а также их коллег и учеников), в настоящее время хранящиеся в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, М.А. Робинсон обращается к дневниковым записям ученых, их воспоминаниям, к протоколам заседаний и постановлениям Академии наук, к материалам, относящимся к деятельности карательных органов и высших партийных инстанций, а также к периодике и книгам как изучаемого исторического

периода, так и к более ранним и более поздним изданиям. Уже в привлечении большого количества документов эпохи, в публикации архивных документов есть очевидное историографическое достоинство монографии.

Книга состоит из предисловия, восьми глав, заключения, двух приложений, списка использованных при подготовке издания архивных фондов и именного указателя.

В Предисловии говорится об источниках, целях и проблематике исследования. Если в начале XX века отечественная славистика была развитой областью гуманитарной науки и имела безусловное признание как в самой России, так и за ее пределами, то Октябрьская революция 1917 г. прервала естественный процесс развития славяноведения в России. В то же время, детального изучения истории отечественного славяноведения 1917– начала 1930-х годов до сих пор не предпринималось, как и изучения более частных вопросов, связанных с отношением к ведущим научным школам прошлого и их лидерам, с историей ликвидации Отделения

русского языка и словесности как самостоятельной научной структуры в рамках Академии наук, с взаимоотношениями эмигрировавших славистов с учеными, оставшимися на родине.

На основании материалов, приведенных в первой главе ("Политика, наука, идеология"), можно видеть, что в то время как события Февральской революции были встречены академической элитой в основном с сочувствием, первые же шаги советской власти произвели на ученых самое негативное впечатление. Одни ученые (Н.П. Кондаков, А.П. Доброклонский, С.Г. Вилинский) эмигрируют, другие (С.Ф. Ольденбург) принимают новые власти, но большинство славистов остается на родине, укрепляясь при этом в своем неприятии новой политической системы. Именно в этих тяжелых условиях, во времена арестов и ссылок ярко проявилась одна из лучших академических традиций – солидарность членов научного сообщества друг с другом. С другой стороны, несмотря на все трудности бытового и идеологического характера, ученые-слависты не отказывались от научно-исследовательской работы – напротив, она зачастую становилась для них смыслом существования, опорой в тяжелейшие моменты жизни.

Во второй главе рассказывается об "ученых в условиях выживания", о преодолении ими – на протяжении всего послереволюционного пятнадцатилетия – материальных трудностей, прежде всего, голода и холода. Тяжелые испытания, выпадавшие на их долю, зачастую побуждали ученых отказываться от научной деятельности как основного источника заработка: характерен в этом отношении пример И.Е. Евсеева, занявшегося хлебопашеством. Представители старшего поколения славистов переносили возникшие трудности особенно тяжело: так, уже в августе 1920 г. из жизни уходит глава академического Отделения русского языка и словесности А.А. Шахматов... Как видно по письмам, солидарность ученых в это время сказывается в том, что они оказывают друг другу посильную помощь продовольствием, стараются поддерживать друг друга морально. В этом отношении особенно показателен пример А.И. Соболевского, никогда не жаловавшегося коллегам на трудности быта. Лишь начиная с 1925 г. тема материальных трудностей постепенно уходит из переписки ученых и положение академической элиты если не улучшается, то стабилизируется на "терпимом уровне" (с. 121) – однако в эпоху коллективизации ученым вновь предстоит пережить холод и недоедание. Именно материальные условия существования зачастую определяли в это время место жительства ученых, что вело как к рас-

пылению высококвалифицированных кадров, так и к возникновению на территории страны новых научно-педагогических центров. Повышение же уровня жизни в Москве и Ленинграде после Гражданской войны вело к концентрации науки именно в этих городах, что иногда отрицательно влияло на жизнь провинциальных университетов.

В третьей главе («"Новая религия" вместо науки: противники и сторонники») говорится о "марксистских течениях" в гуманитарных науках (марризм в лингвистике, так называемое социологическое направление в литературоведении) и о сложных отношениях их представителей с традиционной академической славистикой. По мнению автора, "новые веяния политико-методологического характера имели для славистики в широком смысле особенно серьезные негативные последствия" (с. 145). Дело в том, что "обоснованием славяноведения как особой отрасли научного знания служили не только факты исторической и культурной близости славянских народов, но всегда и прежде всего их языковое родство" (там же). Теория же Н.Я. Марра (в позднем ее варианте, после 1923–1924 гг.) отвергала существование языковых семей и языкового родства в целом, заменяя соответствующие понятия представлениями о стадийности языкового развития и различных "типах"-стадиях (их у Марра выделялось то три [Марр, I: 89], то четыре [Марр, II: 405] – см. об этом [Томас 1957: ch. 6]) единого "глоттогонического" процесса. Кроме того, такие видные слависты, как Г.А. Ильинский, не могли оставаться в стороне от публичных обсуждений теории Марра – пусть те и имели вид скорее общественной расправы с его оппонентами. Так, в феврале 1929 г. Е.Д. Поливанов выступил с докладом "Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория" в Коммунистической Академии в Москве. Цель доклада состояла в том, чтобы доказать несостоятельность притязаний марризма не только на лингвистическую ценность, но и на его марксистскую принадлежность. Единственным ученым, который публично поддержал Поливанова, стал именно Ильинский – что впоследствии стоило ему издания его "Праславянской грамматики", над которой ученый работал много лет, а также выборов в советскую Академию наук в 1931 г. Позиция же славистов, поддерживавших Марра или занимавших лояльную позицию в отношении его теорий (Н.С. Державин) не могла не вызывать презрения большинства академической славистической элиты. Однако, как показывает М.А. Робинсон, наряду с открытой оппозицией и лояльностью, существовал и еще один путь, который позволял ученым-славистам сохра-

ниться в новой научной среде: “временно отойти в сторону, не поднимать принципиальных методологических вопросов, сохраняя при этом свои убеждения” (с. 184). Так поступил, например, Б.М. Ляпунов, возглавивший открывшийся в 1933 г. Кабинет славянских языков в Институте языка и мышления (которым руководил лично Марр) и в то же время активно добывавший издания книг по славистике, в которых отвергались основные методологические приемы марризма.

Четвертая глава (“Ученые-эмигранты и российская славистическая элита”) повествует о жизни эмигрировавших после революции 1917 г. славистах (В.А. Францев, М.Р. Фасмер, Р.О. Якобсон) и их связях с учеными, оставшимися на родине. Эмигрировавшие слависты не только взяли на себя задачу восстановления личных связей, которые существовали между членами мирового славистического сообщества до начала Первой мировой войны, но и по мере возможности оказывали помощь своим оставшимся на родине коллегам. В 1927–1928 гг. переписка русских ученых, находящихся по обе стороны границы, оживает. Эмигрировавшие слависты направляют в Россию и своих новых учеников. Однако эпоха “великого перелома” и начало политических процессов в СССР, как и уход из жизни виднейших славистов, оставшихся на родине, стали важными факторами в прекращении контактов.

В пятой главе (“В.Н. Перетц и его научная школа”) на примере знаменитого киевского “Семинария русской филологии при императорском Университете св. Владимира” под руководством В.Н. Перетца рассказывается о такой замечательной традиции дореволюционной славистики, как формирование научных школ. М.А. Робинсон обращает особое внимание на отношения самого Перетца с его учителем Соболевским, показывая их важность для формирования личности Перетца как педагога. Такие положения, как необходимость для ученого заниматься самостоятельными поисками новых источников, уважение учителя к личности ученика, которые были очевидны для самого Соболевского в отношениях с Перетцем, были поставлены последним и во главу угла его собственной педагогической работы. Из его научной школы, выросшей из киевского Семинария, вышли такие замечательные исследователи-слависты, как В.П. Адрианова-Перетц, М.Н. Тихомиров. Именно они в значительной степени способствовали возрождению и развитию традиций академической науки, когда в России появилась возможность освобождения от привнесенной в науку коммунистической идеологии.

В шестой главе рассказывается о по-своему трагической судьбе К.Я. Грота и “отношении нового славноведения к предшественникам”. К.Я. Грот – известный русский славяновед и один из первых учеников В.И. Ламанского – принял и Октябрьскую революцию, и советскую власть (см. опубликованную в Приложении 1 рукопись его записки “Мой взгляд на переживаемую эпоху”). Это объяснялось его следованием научно-идеологическим схемам Ламанского, в частности, положению последнего о противоположности и борьбе западно-германского и греко-славянского миров, об “особом пути” развития России [Ламанский 1892]. Однако от новой власти пострадал и Грот: некоторые его статьи не печатались, вину ему вменялось отсутствие в его работах “передовых”, марксистских методов. В той же главе М.А. Робинсон показывает, как отношение к личности и трудам Ламанского (см., в частности, приводимую в Приложении 2 машинописную копию доклада В.Н. Кораблева “Славяноведение на службе самодержавия (Из деятельности академика В.И. Ламанского)” и сравнение ее с оценкой деятельности Ламанского Державиным в годы Великой Отечественной войны) на разных этапах существования советского славноведения может считаться важным критерием идеологизированности последнего.

В седьмой главе (“Реформирование “Отделения родного языка”») речь идет о ликвидации самостоятельности академического Отделения русского языка и словесности в 1927 г. Ответственность за это во многом лежала не столько на новых властях, сколько на руководстве самой Академии наук. Действия эти отнюдь не были направлены на улучшение использования научных сил, но являлись первым шагом на пути советизации Академии. В частности, введение в список дисциплин, имеющих отношение к Отделению гуманитарных наук, экономики, социологии “и т. п.” (с. 341) открывало “широкий путь к пополнению Отделения партийно-государственными функционерами и <...> марксистско-ориентированными учеными” (там же).

В заключительной главе (“Начало конца “старой” Академии») говорится о тенденции к полному подчинению Академии наук государству: в конце двадцатых годов все большую роль в структуре Академии начинали играть выдвинуты последние лет, происходило внедрение в высшую школу коммунистической идеологии, безграмотность носителей которой не могла не волновать старых академиков. Крайне болезненно воспринималась членами бывшего Отделения русского языка и словесности и невозможность полноценной реализа-

ции своих научных сочинений: многим было гораздо легче опубликовать свои труды за границей, чем в СССР. Как фактический “конек Академии” охарактеризовал итоги выборов в Академию в 1928 г. Ильинский (с. 358): в то время одним из главных успехов проведенного реформирования Академии считалось избрание в академики кандидатов-коммунистов. Наконец, не удовлетворяясь организационной победой над старой Академией, советские власти направляли значительные усилия и на вытравливание самого духа Академии и уничтожение прежних академических традиций: института научных школ, формировавшихся вокруг личности учителя, традицию терпимости к иным как научным, так и политическим взглядам...

Подводя итоги исследования в *Заключениях*, М.А. Робинсон особенно подчеркивает, что огромные трудности как идеологического, так и бытового характера все же не могли отвратить ученых от исследовательской и преподавательской работы. Радикальные же меры по уничтожению лучших академических традиций, предпринятые властями, не имели полного успеха. Именно поэтому изучение славянских языков и литератур, продолженное учениками славистов старших поколений, не прекращалось в СССР даже в пору самых жестких гонений на славистику. Как резюмирует автор, стремление представителей отечественной научной элиты “следовать в любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах, высоким академическим традициям являет поучительный пример нравственного служения науке” (с. 385).

Книга М.А. Робинсона, несомненно, будет интересна как славистам, так и историкам науки. Отметим, правда, что об истории науки как таковой (зарождение и развитие концепций, взаимовлияние научных теорий) речь в монографии не идет. Автор рассказывает прежде всего о судьбах ученых, не отделяя их в то же время от истории науки: “История всякой науки складывается не только из истории идей, концепций, исследований, но также из истории научных институций и судеб отдельных ученых” (с. 12). При этом вполне понятные симпатии и сочувствие М.А. Робинсона тем достойным представителям академической элиты, о которых идет речь в монографии, не всегда позволяют читателю должным образом дистанцировать позиции автора и его героев – тем более что некоторые фрагменты переписки славистов оставлены М.А. Робинсоном без комментариев. Конечно, в каких-то случаях никакие комментарии и не нужны – например, когда говорится о негативной оценке представителями академической славистики, ориентированной по преимуществу на исторический

(диахронический) подход, зарождавшейся в то время фонологии (с. 175). В других же случаях – особенно если речь заходит о малоизвестных в современной России ученых – комментарии автора могли бы оказаться полезными. Например, в одном из писем Перетцу Соболевский негативно отзывался как о человеческих качествах, так и о научных достижениях чешского этнографа, фольклориста и литературоведа Ч. Зибрта (с. 233) – последний определен в Именном указателе только как литературовед. Но в описываемую эпоху существовали и прямо противоположные мнения об этом ученом, причем не только в Чехии, но и в России (см. об этом [Вельмезова 2004]), где в 1912 г. Зибрт был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук по Отделению русского языка и словесности (последнее отмечается в Именном указателе).

Особенно же отчетливо тенденция к сближению авторской позиции с точкой зрения тех, о ком исследователь пишет, проявилась в третьей главе книги, где говорится о научных и идейных противниках гонимых славистов – марристах. Конечно, писать о марризме с научной точки зрения сегодня – тем более в России и в контексте описываемых в книге трагических событий в истории отечественной науки – непросто. Однако объявляя, вслед за славистами изучасмой эпохи, марризм не более чем “галиматей” (с. 160), говоря о “полной ненаучности идей Марра” (с. 147), автор тем самым фактически отказывает его концепции в изучении. Это приводит к неточностям в изложении теории Марра, на которых хотелось бы остановиться подробнее.

Прежде всего, нельзя говорить о том, что учение Марра “полностью отрицало все предшествующее языкознание” (с. 146): даже пострадавший от марризма Н.Н. Дурново в 1929 г. писал (и это цитируется в книге), что “Марр выдает за свои откровения, по [большей] части], мнения, высказывавшиеся лингвистами лет 70–80 тому назад” (с. 159). Сходство теорий Марра с воззрениями некоторых лингвистов – его предшественников (например, стадийной концепцией братьев А.В. и Ф. Шлегелей) – уже отмечалось и исследователями марризма (см. [Алпатов 1991: 37]), общие положения были и в концепциях Марра и некоторых других лингвистов той эпохи: Г. Шухардта (принцип языкового скрещения), Л. Щербы (понятие диффузных звуков) и т.д. Спорил же Марр в основном с представителями сравнительно-исторического языкознания – соответствующие положения, правда, разделяли и большинство славистов, о которых идет речь в книге.

Преследования славистов марристами отчасти объясняются М.А. Робинсоном тем, что

Марр отрицал сами понятия национальных языков и языкового родства как ненаучные. Однако в этом отношении теория Марра была скорее неоднозначна и противоречива: отрицание национальных языков и языкового родства не мешало тому же Марру писать – пусть зачастую (но не всегда!) и давая им отличную от общепринятой интерпретацию – о “славянах” и “славянских языках” как таковых даже в поздних своих работах (см. хотя бы [Марр, V: 262, 264]). Не стоит забывать и о том, что при Институте языка и мышления в 1933 г. был открыт Кабинет славянских языков (об этом в книге говорится). Гораздо более категоричной по данному вопросу была позиция других ученых – современников описываемых событий, например, члена группы “Языкофронт”, борвшейся с Марром и его школой с позиций марксизма, Г.К. Данилова, отрицавшего национальные языки в угоду “языкам общественных классов” [Данилов 1929].

Не совсем верно и ставить, как это делает автор (с. 148), знак равенства между яфетическими и кавказскими языками: так, в позднем варианте “нового учения о языке” Марр относил к яфетической “стадии” не только кавказские языки (например, яфетическим языком считался и баскский, см. [Марр, I: 290–311]).

Приводя многочисленные суждения славистов 1920-х гг. о ненормальности Марра, автор книги ссылается и на В.М. Алпатова – автора единственной монографии о Марре и марризме, опубликованной в России [Алпатов 1991]. Однако прямых доказательств той психической “ненормальности”, о которой пишет В.М. Алпатов [Алпатов 1991: 77], у нас сегодня все же нет, а косвенные ее подтверждения, о которых пишет автор “Истории одного мифа” (стиль работ Марра, его “графомания”, мнения других лингвистов – не врачей! – и т. д.) позволяют не более чем строить гипотезы по этому поводу. На книгу В.М. Алпатова ссылается М.А. Робинсон и приводя отдельные постулаты концепции Марра (в частности, положение о четырехх первозлементах, с. 175). Первичные же источники, то есть работы самого Марра, историк при этом не цитирует (за исключением немногочисленных фрагментов его переписки) – в каком-то смысле, следуя мнению славистов двадцатых годов, для которых теория

Марра была совершенно бессмысленной (с. 167 и 177). Впрочем, в такой оценке марризма автор монографии не одинок. В какой-то степени он следует здесь и отечественной академической традиции, когда к теории Марра подходят с чисто историографических позиций, объявляя саму теорию ненаучным бредом. Однако здесь хотелось бы вспомнить замечательный принцип “эпистемологического нейтралитета”, провозглашенный современным французским историком лингвистики С. Ору [Auroux 1989: 16]: любая теория, какой бы ошибочной и неверной она ни казалась, заслуживает внимательного к себе отношения и изучения. Ведь и одна из лучших академических традиций, о которых говорится в книге М.А. Робинсона, предполагала терпимое и уважительное отношение ученого к своим научным противникам. Тем более важен этот принцип для историка науки.

Конечно, речь о марризме идет лишь в одной из восьми глав книги, в которой, к тому же, говорится прежде всего не о самих марристах, а о трагических судьбах их противников. Поэтому некоторые неточности в изложении концепции Марра ни в коей мере не умаляют всей значимости огромной исследовательской работы, проделанной М.А. Робинсоном.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов 1991 – В.М. Алпатов. История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991.
Вельмезова 2004 – Е.В. Вельмезова. К 140-летию Ченска Зибрта // Живая старина. 2004. № 4.
Данилов 1929 – Г.К. Данилов. Язык общественного класса // Уч. зап. Ин-та языка и лит-ры РАНИОН. 1929. Т. III.
Ламанский 1892 – В.И. Ламанский. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892.
Марр – Н.Я. Марр. Избранные работы. Т. I–V. М.; Л., 1933–1937.
Auroux 1989 – S. Auroux. Introduction // S. Auroux (éd.). Histoire des idées linguistiques. V. I–II ; V. I. Liège; Bruxelles, 1989.